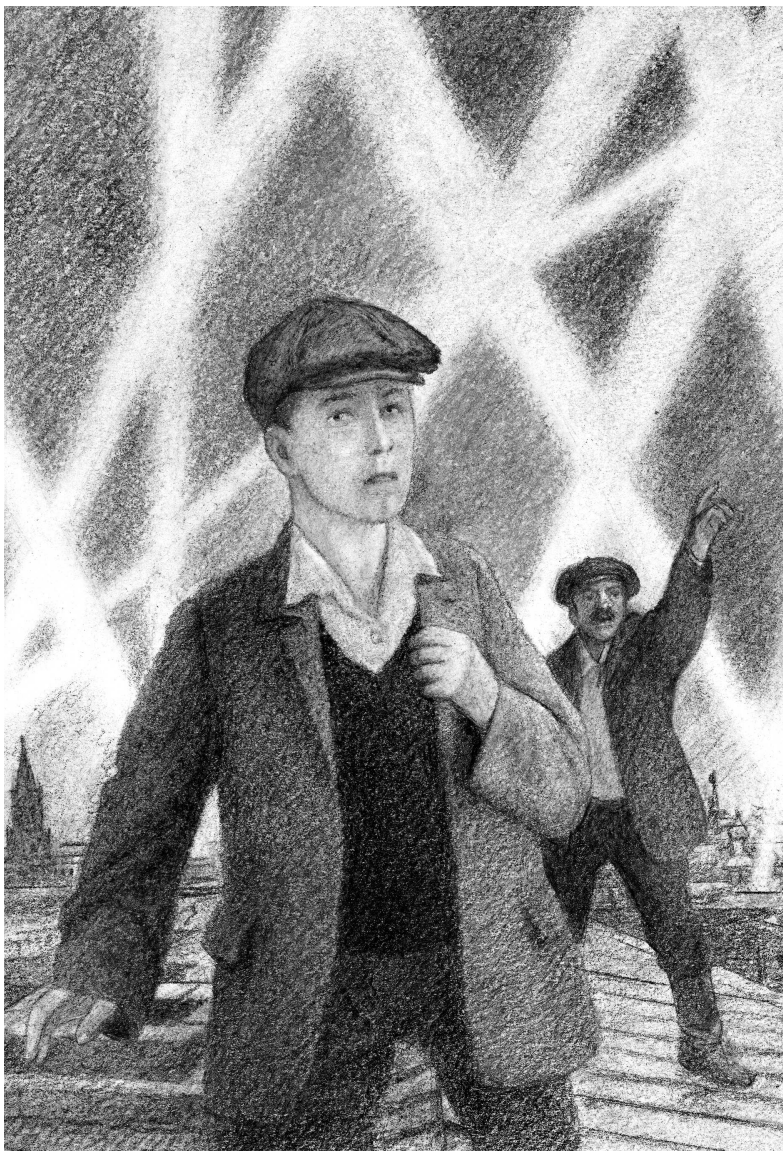




О ВОЙНЕ — ДЕТЯМ





ВИКТОР ДРАГУНСКИЙ

**ОН УПАЛ
НА ТРАВУ...**





1

Очень темная была ночь, когда я, нагруженный разными свертками, усталый как черт и голодный, подошел к своему переулку. Здесь, у аптеки, я должен был подождать ее. На улице уже было тихо и глухо. Москва отдыхала после тревожного дня перед тревожной ночью. Все мы, москвичи, знали, что через несколько минут обязательно прозвучит сигнал воздушной тревоги, фриц опять начнет рваться к нашему городу и мы уведем женщин, детей и стариков в бомбоубежище, а сами побегим на свои места — в лестничные клетки, в подъезды и на крыши, будем слушать надсадный вой чужого мотора и с надеждой смотреть на кинжально-перекрещивающиеся лезвия прожекторов. Нетер-



пеливым сердцем будем подгонять зенитчиков и будем радоваться, когда услышим первые удары наших батарей, — они такие сильные, молодые и стучат полновесно, как весенний первый гром, когда, резвяся и играя, — как там дальше? Ах да, — грохочет в небе голубом! Знал я также, что молодой командир батареи у зала Чайковского будет командовать: «Огонь!», и это всем нам, дежурящим на окрестных крышах, будет как маслом по сердцу.

Да, скоро объявят воздушную тревогу, а пока Москва немножко отдыхала, и я стоял на перекрестке в полной темноте, и, видно, никогда не забыть мне этого часа в последнюю августовскую ночь в Москве, когда я ждал на углу возле аптеки эту женщину и знал, что завтра я уйду из моего врезанного в сердце города, и от нее уйду, и буду делать что-то большее, чем дежурство на крышах и тушение зажигалок.

А время все шло, и от нетерпения я уже насчитал несколько раз по пятисот, а Валя все не приходила. Я вошел в парадное, где стояла будка автомата, опустил гривенник и, отсчитывая в синей темно-



те буквы и цифры на телефонном диске, набрал ее номер. Телефон басисто прогудел, и Валя сняла трубку. Это сразу ударило меня по сердцу. Я слышал ее голос, а ведь она не должна была быть дома. Это поразило меня. Она, значит, дома, а я стою на ветру и жду ее, а она вовсе и не собирается проводить меня, провести со мной вечер, проститься...

Я сказал:

— Это я, что ж ты не идешь?

И я услышал, как она ответила мгновенно, как будто знала, что я позвоню, и как будто давно уже отрепетировала свой ответ.

— Понимаешь, Зойка, — сказала она, — ничего не выйдет, мне не вырваться сегодня. Семейные дела заели. Да и поздно уже!

Какая, к черту, Зойка? Я почувствовал, что у меня упало сердце. Я сказал:

— Я не Зойка. Это Митя говорит.

Она засмеялась.

— Нет, Зойчик, не могу. Не проси.

Я сказал:

— Я завтра уезжаю. Ведь ты же плакала. Что ты несешь? Мы не простимся?

Она помолчала, потом сказала тихо и очень внятно:



— Неудобно. Надеюсь, ты напишешь.
Будь здорова.

Я услышал комариный писк разъединения и механически повесил трубку.

Вышел я из будки, так резко толкнув дверь, что ушиб кого-то, стоящего там в темноте.

— Ох, — сказал кто-то, — чуть-чуть не убил.

В парадном стояла девушка. Синий свет не давал возможности разглядеть ее лицо.

Я сказал:

— Извините, — и хотел было уйти.

Но она сказала:

— Я вас давно жду. Одолжите мне гривенник, пожалуйста, или разменяйте двадцать копеек.

Я протянул ей монету. У меня их всегда полны карманы. Она взяла гривенник, нашарив в темноте мою руку, и я ощутил прикосновение горячих и сухих пальцев. Она сказала:

— Если можно, не уходите. Я мигом.

Я остался в парадном. Я не мог как следует осознать все случившееся, и на душе у меня было непоправимо скверно. Ведь, черт побери, честно говоря, я был



в эти дни, в эти ужасные первые дни войны, как какой-нибудь сумасшедший: я был счастлив. То есть я был потрясен войной, я ненавидел фрица, я знал, что уйду на войну во что бы то ни стало, но вот в глубине сердца у меня, несмотря на такое ужасное горе, как война, светилося счастье. Это было потому, что я верил в Валину любовь и сам любил ее всем сердцем. А теперь, после разговора по телефону, особенно после ее правдивого голоса, который так здорово врал и обзывал меня Зойкой, после этого я почувствовал, что ничего хорошего в моей жизни не осталось и что я теперь как солдат, у которого отняли его личное оружие и все могут стрелять в него, как в бессмысленный столб. Я совершенно растерялся от этого разговора и не знал, что делать. Из автомата вышла девушка.

— Спасибо, что подождали. Вы меня знаете?

— Нет.

— Да мы же рядом живем, вы в конце переулка, а я не доходя, наискосок. Я недавно в Москву переехала, а раньше жила в Туле. А теперь мама там, а я у тети... А вас я часто встречаю в переулке,



и одна девочка мне про вас все рассказала.

Ну и ну, все ей рассказала. Вот это да. А что рассказывать-то?

— Так что я все про вас знаю, Митя Королев. Дайте руку, а то я боюсь ходить по этому переулку.

Она взяла меня за руку, и мы вышли. Ночь стала еще темней. Вокруг слышались сдержанные голоса прохожих, люди говорили тихо, как будто боялись, что их услышит какой-нибудь фриц, там, наверху.

Мы постояли немного с незнакомой девушкой на краю тротуара и пошли домой. Не хотелось мне идти домой, прямо скажем, противно было, особенно потому, что я весь был обвешан покупками, как какой-нибудь пижон. А еще противней было, что покупочки эти оказались ни к чему, ни для кого. Все эти пакеты и свертки хрустели новой бумагой, как окаянные, словно смеялись надо мной. Девушка вдруг сказала:

— Значит, никто не придет проводить вас и проститься?

Я сказал:

— Это не ваше дело.



Она вздохнула.

— Всегда, когда стоишь у автомата, слышишь чужой разговор. Конечно, это нехорошо.

Мы сделали еще несколько шагов, и девушка вдруг остановилась.

— Это, наверно, горько и обидно — звонить куда-то и узнавать, что тебя не придут проводить и проститься?

— Да.

Она как будто рассердилась, потому что спросила сухо:

— Может, мне отстать от вас?

— Да. Отстаньте, пожалуйста.

Она крепче сжала мою руку.

— Это не дело прогонять меня, раз я боюсь ходить этим переулком. Ладно, я буду молчать и не буду мешать вам переживать.

Я с удовольствием дал бы ей затрецину, но меня мучило сейчас другое, и я промолчал.

Мы проходили мимо большого серого дома, когда она сказала:

— Вот я здесь живу.

Я сказал:

— Ну, пока.

Но она не отпустила мою руку.



— Я провожу вас, мне не хочется домой.

Мы вошли в наш двор, где нас тихонько окликнули дежурные, и прошли в самый дальний конец. Моя дверь была налево от садика, я жил теперь один на нашем первом этаже. Я пошарил в почтовом ящике и взял ключ.

Я сказал:

— Ну вот. Пока.

Но она сказала:

— Можно, я к вам зайду? Давайте уж я провожу вас, раз никого больше нет.

Я никак не реагировал на ее слова. Меня мучило совсем другое, и то, что говорила эта девчонка, не имело никакого значения. Я отпер дверь и впустил ее к себе. В темноте я проверил, опущены ли шторы затемнения, и зажег свет. Потом я свалил всю эту сотню свертков на стол и вынул из бокового кармана плоскую бутылочку старки — я купил ее в коктейль-холле, мне нравилось, что она плоская, как у какого-нибудь отчаянного героя старого кинофильма.

Девушка в это время, не дожидаясь моей помощи, сняла с себя плащ и повесила его на гвоздик, торчавший в стене у



дверей. Она с любопытством осмотрелась. Особенно ее заинтересовали Валины карточки в разных ролях, которые я развесил в своей комнате.

Я сел на стул у окна. Она подошла ко мне и сказала:

— Хотите есть?

— Нет, — сказал я.

— Надо поесть, — сказала она и показала на свертки. — Вон сколько еды, у меня слюнки текут. Сейчас я накрою на стол, у нас будет прощальный ужин, а потом я уйду, и вам не надо будет меня провожать. Здесь я не боюсь — совсем ведь рядом.

Я сказал:

— Действуйте как хотите.

Она принялась вертеться вокруг столика и хлопотать, и на лбу у нее появились забавные заботливые морщинки, она начала играть во взрослую хозяйку, брала с полки посуду, и все это получалось у нее очень симпатично и ловко. И как она комкала освободившийся пергамент и обсасывала палец — было тоже очень забавно. Я подумал: как жалко, что у меня нет никого на свете близких, и как хорошо было бы иметь такую вот забавную



сестренку с девчонскими повадками и серьезным личиком. Я бы уже смог сделать так, чтобы моя сестренка меня любила, я бы ей покупал всякие ленточки и вообще баловал бы.

Я сидел у окна, больная нога привычно ныла, и хотя меня непрерывно мучила вся эта подлая история с Вале́й, я все-таки вдруг захотел есть и подсел к столу.

Девушка сидела напротив меня, она тоже ела и все поглядывала на меня, словно удивлялась, что вот я такой невежливый, ужинаю с дамой и не веду оживленную светскую беседу. В общем-то она была права. Она-то ни в чем не была виновата.

Поэтому я сказал:

— Давайте выпьем!

— Ну что ж...

Я налил из плоской бутылочки ей и себе. И увидел, что она никак не может решиться выпить.

— А вы в общем-то пили когда-нибудь?

Она поставила рюмку и прикрыла ее сверху ладошкой.

— Честно?

— Да.

— Это в первый раз.



Она сконфуженно улыбнулась. Просто давно не видел такой занятной девчухи. Я сказал:

— Если в первый раз, — лучше не пейте, не надо. Обожжет горло, захватит дыханье, слезы побегут. Не пейте.

Я выпил свою рюмку. Она смотрела на меня и явно побаивалась. Я налил себе еще.

— Ну, хорошо, — сказала она, — я не буду пить. А вам интересно узнать наконец, кто же я такая?

— Нет. Неинтересно. Мама в Туле, тетя здесь. Чего же еще?

— Ну, а как меня зовут, — тоже неинтересно?

— Абсолютно, — сказал я. — Ну так как, будете пить, нет? А то ваша рюмочка выдыхается, давайте ее сюда — я сам ее выпью...

— Нет, — сказала она и отодвинула от меня свою рюмку, — нельзя! А то вы узнаете все мои мысли...

— Ого! Значит, вы скрываете свои мысли. Любопытно, какие же это ужасные мысли, если их нужно скрывать?

Честное слово, она покраснела. Она отвернулась к окошку, и я увидел, что она